

«РУССКАЯ САМОБИТНОСТЬ» В ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ ЭМИЛЯ ДЮПРЕ ДЕ СЕН-МОРА

Жизнь и творческая деятельность Эмиля Дюпре де Сен-Мора (Dupré de Saint-Maure) не совсем забыты в наше время. Основные сведения о нем сообщает «Французский биографический словарь»¹. Имя его присутствует в разного рода общих трудах по истории русско-французских культурных связей². Нередко встречается оно и в исследованиях, имеющих более частный характер³. Однако даже самые значительные его опыты изучены далеко не в полной мере. А между тем, они имеют немалую ценность для лучшего понимания того, как воспринималась на Западе русская действительность в первой трети XIX века, под каким знаком происходило ее осмысление и какую роль сыграло оно в процессе формирования «взгляда со стороны» на «русскую самобытность» в различных ее проявлениях.

Жан-Пьер-Эмиль Дюпре де Сен-Мор родился 10 июня 1772 года в Каркассонне, в семье негоцианта. В двадцатилетнем возрасте он вступил в революционную армию, пополнив ряды 4-го добровольческого батальона департамента Од в чине полкового адъютанта, затем переместился в штаб армии Восточных Пиренеев и там состоял в качестве адъютанта при генерале Аржанвилье. После окончания военных действий он вернулся в родной Каркассонн, где занял должность заместителя прокурора местной коммуны. В 1805–1807 гг. он — секретарь администрации, управлявшей делами принцессы Полины Боргезе, сестры Наполеона, а в 1807–1811 гг. — депутат от департамента Од в Законодательном корпусе. В 1813 году Дюпре де Сен-Мор возглавил супрефектуру Бонн департамента Кот д'Ор, причем падение Наполеона не изменило его положения: новый «старый режим», т. е. Реставрация Бурбонов, он принял безоговорочно и, в отличие

¹ Dictionnaire de biographie française. Fasc. LXVII. Paris, 1968. P. 543.

² См., например: *Corbet C.* L'Opinion française face à l'inconnue russe (1799–1894). Paris, 1967. P. 124–125, 126–127, 142–144; *Krauss C.* La Russie et les Russes dans la fiction française du XIX^e siècle (1812–1917). D'une image de l'autre à un univers imaginaire. Amsterdam -New York, 2007. P. 144–147.

³ См., например: *Десницкий В. А.* Избранные статьи по истории русской литературы XVIII–XIX вв. М.; Л., 1958. С. 206–209; *Алексеев М. П.* Русско-английские литературные связи (XVIII — первая половина XIX века) // Литературное наследство. Т. 91. М., 1982. С. 209, 215, 225; Пушкин в прижизненной критике. 1820–1827. СПб., 2001. С. 339, 438, 471, 472, 479.

от многих, не дрогнул во время Ста дней, за что Людовик XVIII, окончательно утвердившись на французском престоле, наградил его орденом Почетного Легиона. В 1816 году, скорее всего в связи с роспуском так называемой «Бесподобной палаты» («Chambre introuvable»), в которой преобладали крайне правые («ультрароялисты»), Дюпре де Сен-Мор, им сочувствовавший, вышел в отставку и на государственную службу возвратился лишь через тринадцать лет, после прихода к власти крайне правого правительства принца де Полиньяка, теперь уже в Префектуру полиции, где оставался вплоть до Июльской революции 1830 года. О жизни Дюпре де Сен-Мора в последующие годы, мы ничего не знаем. Известно лишь, что, уйдя на покой, он обосновался в департаменте Ионн и умер в городке Перрез 24 июля 1854 года. Впрочем, для нас несравненно больший интерес представляет тот период, когда, прервав свою служебную деятельность, он мог свободно распоряжаться собой и своим временем, часть которого (с августа 1819 по июль 1824 гг.) провел в России.

В силу каких причин и каким образом это произошло, еще предстоит выяснить, но трудно допустить, что столь длительное пребывание в чужой и далекой стране могло быть случайным и бесцельным. Не исключено, Россия привлекала Дюпре де Сен-Мора и раньше, и более основательное с ней знакомство он надеялся использовать для того, чтобы проявить себя на литературном поприще, к которому давно тяготел: в 1805 году на одной из «малых» парижских сцен была поставлена его одноактная комедия в прозе с водевилями (т. е. вокально-инструментальными вставками) «Юность Превилья, или Деревенские комедианты» («La Jeunesse de Prévillie, ou les Comédiens de la campagne»), изданная четыре года спустя; в 1808 году опубликовал брошюру «Опыт о торговых отношениях департамента Од с портовыми городами Ближнего Востока, Испании, Португалии и т. д.» («Essai sur les relations commerciales du département de l'Aude avec les échelles du Levant, l'Espagne, le Portugal etc.»), а в 1819 году вышел сборник его сатир «Вчера и сегодня» («Hier et aujourd'hui»), который был еще книжной новинкой, когда Дюпре де Сен-Мор появился в Петербурге. «Сюда приехал с рекомендательными письмами ультрароялист Saint-Maure и привез книжки свои с сатирическими стихами, — сообщал А. И. Тургенев П. А. Вяземскому (находившемуся тогда в Варшаве) в письме от 13 августа 1819 года. — Я читаю теперь одну из них: “Hier et aujourd'hui”, в которой собраны разные пиесы sur les folies du jour [о сенсациях дня], например: “L'Egoïste du Café Tortoni”, “L'Audience”, “Le Député de l'an 1813” etc. Не без ума, но почти без таланта»⁴.

⁴ Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. 1812–1819. СПб.: Типография М. М. Стасювича. 1899. С. 288.

Впрочем, так думали далеко не все, и Дюпре де Сен-Мору это во всяком случае не помешало войти в петербургскую жизнь и завязать нужные знакомства в великосветских и литературных кругах, что было для него особенно полезно, поскольку вскоре после приезда он начал «осваивать» русскую литературу, о которой не имел ни малейшего понятия и путь к которой был ему закрыт ввиду незнания им русского языка. Выучить язык он не пытался, ограничившись двумя-тремя десятками самых употребительных слов, которые произносил с трудом и почти всегда на французский лад, но преодолеть это препятствие все же сумел благодаря вновь обретенным русским друзьям и приятелям, превосходно владевшим французским. Постоянно прибегая к их советам и помощи, а также используя уже существовавшие к тому времени изданные и неопубликованные переводы, он в сравнительно короткое время составил предназначенную для его соотечественников обширную антологию русской поэзии, причем поэзии по преимуществу современной⁵. При этом, опираясь на авторитет «французского Квинтилиана», Лагарпа, полагавшего, что «перевод поэзии прозой совершенно уничтожает искусство поэта и лишает его естественного для него языка», переводить он старался по возможности стихами⁶. Свою задачу Дюпре де Сен-Мор видел и в том, чтобы продемонстрировать жанровое разнообразие открываемой им поэзии. «В этом сборнике, — сообщал он, — фигурируют эпопея, трагедия, ода, послание, сатира, баллада, элегия, героико-комическая поэма, басня, идиллия, песня и эпиграмма»⁷.

Дюпре де Сен-Мор сознавал, что перевод его несовершенен и объяснял это превосходством русского языка в сравнении его с французским, вследствие чего он и не мог передать «все изящество или всю энергию оригинала»⁸. Тем не менее, он надеялся, что «духу текста» он почти всегда оставался верен и в доказательство приводил весьма лестное для него суждение И. А. Крылова, высказанное в беседе с ним «однажды, после того, как тот прослушал (в его переводе. — П. З.) несколько своих басен»: «Если особенности вашего языка и заставляли вас подчас отклоняться от моего текста, не могу не признать, что моей мысли вы никогда не искажали»⁹.

Что же касается «объяснительной части» антологии — пространно введения и примечаний, то в основе их лежали «Опыт краткой истории русской литературы» Н. И. Греча (1822) или, точнее, — ее перевод, осуществленный Карлом-Филиппом Рейфом, известным составите-

⁵ Anthologie russe, suivies de poésies originales. <... >. Par P. J. Emile Dupré de Saint-Maure <... >. Paris: Chez C. J. Trouvé <... > 1823.

⁶ Там же. Р. I–II.

⁷ Там же. Р. II.

⁸ Там же. Р. III.

⁹ Там же.

лем грамматик русского языка и различных словарей, и «Dictionnaire géographique-historique de l'Empire de Russie» Н. С. Всеволожского (1813), которого Дюпре де Сен-Мор везде почтительно именовал тверским губернатором, впрочем, в полном соответствии с официальным статусом этого образованного и трудолюбивого вельможи.

Несмотря на обилие всевозможных погрешностей, введение должно было принести несомненную пользу французскому читателю: история русской литературы прослеживалась в нем с древнейших времен до начала 1820-х годов, причем характеризовались не только поэты, но и прозаики, и драматурги, и историки, и религиозные ораторы, и даже театральные деятели, как прославленные, так и второстепенные, характеризовались кратко, но достаточно выразительно для того, чтобы читатель мог составить себе верное представление о литературе, «слишком мало известной в Европе». «Быть может, — писал Дюпре де Сен-Мор в заключение, — читатель разделит со мной чувство восхищения, которое вызывает у меня та чудесная стремительность, с которой эта литература заняло свое место в литературной республике. Едва ли в какую-нибудь другую эпоху и у какого-либо другого народа развитие было столь же стремительным; на протяжении восьмидесяти лет, что так много для человеческой жизни, но так мало для жизни народа, Россия обогатилась большинством литературных шедевров, древних и новых, и таким множеством оригинальных творений»¹⁰.

Подражательность, присущую русским писателям, Дюпре де Сен-Мор находил вполне естественной для начального этапа становления любой литературы, но вместе с тем он решительно возражал против всяких преувеличений и обобщений. «Немало русских сочинений отмечено печатью самобытности», — утверждал он, особенно одобряя склонность русских драматургов к национальным, иными словами — почерпнутым в российской истории — сюжетам¹¹.

Для своей антологии Дюпре де Сен-Мор отобрал семнадцать авторов и расположил их (без какой-либо мотивации) в таком порядке: И. И. Дмитриев, К. Н. Батюшков, В. А. Пушкин, В. А. Озеров, В. А. Жуковский, Н. И. Гнедич, Д. И. Хвостов, А. С. Пушкин, И. И. Хемницер, А. Ф. Воейков, А. Д. Кантемир, В. И. Козлов, Г. Р. Державин, Д. В. Давыдов, С. С. Бобров, М. М. Херасков, И. А. Крылов. Продиктован этот выбор был в первую очередь, конечно, широкой известностью или высокой репутацией почти всех названных имен, но нередко и случайными причинами: подсказками знакомых и даже желанием самих авторов, к которым Дюпре де Сен-Мор прислушивался и в помощи которых нуждался. В свою очередь, это сказалось на характере и объеме включенных в книгу поэтичес-

¹⁰ Там же. Р. XXVIII.

¹¹ Там же.

ких текстов, равно как и примечаний к ним, иногда предельно лаконичных, но подчас в высшей степени обстоятельных и пространных.

Полнее всего в антологии было представлено басенное творчество Крылова. О нескольких авторах можно было составить мнение по одному-двум стихотворениям, приведенным целиком (Хемницер, Державин, Батюшков, Жуковский, В. А. Пушкин, Хвостов, Воейков, Козлов, Давыдов). В остальных случаях читателю предлагались более или менее обширные отрывки произведений и даже их частичный пересказ, во французской терминологии — «une rapide analyse» (Пятая и Шестая сатиры Кантемира, «Россияда» Хераскова, «Ермак» Дмитриева, «Димитрий Донской» Озерова, «Таврида» Боброва, «Рождение Гомера» и «Рыбаки» Гнедича, «Руслан и Людмила» Пушкина).

Что же касается примечаний, то особенно щедро ими были снабжены поэма Дмитриева «Ермак» и трагедия Озерова «Димитрий Донской», а также баллада Жуковского «Светлана», которые требовали более подробных пояснений ввиду их ярко выраженной «русскости»: французский читатель тех лет, как правило, ничего не знал о событиях русской истории XIV и XVI веков, не имел он ни малейшего понятия и о русских обычаях, отображенных Жуковским. Отсюда развернутый комментарий Дюпре де Сен-Мора к этой «народной балладе», составленный на основе печатных источников, устных свидетельств и собственных наблюдений, которых у него к тому времени накопилось немало.

«Суеверия, — писал Дюпре де Сен-Мор, — свойственны всем народам; в каждой стране имеются колдуны и простодушные женщины; везде люди стремятся отдохнуть от настоящего, вопрошая будущее <...> Девушки ждут с нетерпением рождественских праздников; ведь это время игр и многочисленных посиделок. Главный интерес этих игр состоит в том, чтобы узнать, когда девушка найдет себе мужа, будет ли он молодым или старым, темноволосым или белокурым, богатым или бедным. Вот какова задача и в чем цель таких сборищ. На юге Европы молодая поселанка отправляется тайком и нередко в очень дальний путь для того, чтобы посоветоваться со старым колдуном, который дорого продает свои предсказания; так что она устает, тратится и не выходит замуж ни на день раньше. На севере девушки не обращаются к колдунам; стремясь провидеть будущее, они полагаются лишь на самих себя и по очереди рассказывают друг другу какую-нибудь историю. Их игры можно было бы назвать *Взаимным колдовством*. На сборищах этих не разрешено присутствовать ни молодым мужчинам, ни даже замужним женщинам, которым больше незачем вмешиваться в столь важные дела»¹².

Затем следовали разъяснения некоторых непонятных иностранцам мест баллады, а именно:

¹² Там же. P. 48.

За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;

...под окном
Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат...

Что, подруженька, с тобой?
Вымолви словечко,
Слушай песни круговой,
Вынь себе колечко.
Пой красавица: кузнец,
Скуй мне злат и нов венец,
Скуй кольцо золотое.

Пред иконой пала в прах,
Спасу помолилась,
И, с крестом своим в руке,
Под святыми в уголке
Робко притаилась.

...мертвец
(Лик мрачнее ночи)
Виден весь — на лбу венец,
Затворены очи.

и

Чу!.. в дали пустой гремит
Колокольчик звонкий.

Речь, следовательно, шла о различных элементах рождественских гаданий, подробностях национального быта (красный угол в русских избах, колокольчик как неперменный атрибут русской почты), похоронного ритуала и т. п. «Это сочинение г-на Жуковского, — как бы подводил итог своим стараниям Дюпре де Сен-Мор, — пользуется в России всеобщей известностью; большинство любителей поэзии знает его наизусть, и прелесть этой баллады для них усиливает искусное соединение им своего сюжета со всеми обычаями и народными поверьями, которые сообщают “Светлане” нечто вроде местного колорита»¹³.

¹³ Там же. Р. 51.

К похоронному ритуалу Дюпре де Сен-Мор возвратился еще раз, комментируя оду Державина «На смерть князя Мещерского». «У русских, — отмечал он, — прощание с покойником происходит в одной из комнат дома и длится три дня. Гроб обит золотой и серебряной материей; лицо и руки умершего открыты, на лбу — венчик. Священник день и ночь печально и тягуче читает над гробом молитвы; прерывистые звуки медленно сменяют друг друга, напоминающая голоса, надломленные скорбью; во время частых остановок священник словно оживает благоприятного определения Всевышнего, к которому взывает, и каждый стих этого песнопения оканчивается громкой и протяжной вибрацией, которая как будто доносится к вам из-под покрова. Публику допускают на эту церемонию»¹⁴.

Впрочем, к «национальной теме» Дюпре де Сен-Мор привлекал внимание читателей и во вводных заметках, посвященных, например, Давыдову («Многие из его песен сделались национальными»)¹⁵, Хераскову («Выразитель национального энтузиазма по случаю важнейших побед русского флота, когда он описывает морское сражение при Чесме, он прославляет освободителя Москвы в трагедии “Пожарский”, и великие деяния дней минувших, равно как и нынешних, станут известны будущим поколениям благодаря гению Хераскова»)¹⁶ и в особенности Крылову: «Г-н Крылов, — утверждал он, — редко переносит своих персонажей за пределы России; он остается на родной почве из опасения утратить, покидая ее, эту драгоценную оригинальность <...>. Множество людей, помешанных на параллелях, пытается, говоря о баснях Крылова, прибегнуть к сравнениям; кажется, уже оригинальность его таланта должна бы устоять против этой мании. Этот поэт обязан своими мыслями лишь себе одному; он — это он, всегда он; вот, на чем в первую очередь зиждется его слава»¹⁷.

«Национальная самобытность», несомненно, обусловила и включение в антологию от кого-то полученных Дюпре де Сен-Мором четырех старинных свадебных песен, русский колорит которых он усматривал в образах «водоплавающих птиц» — лебеди и дикой утки — и «охотничьей птицы», символизировавших соответственно юных невест и молодого супруга, «подобно тому, как это было в свадебных песнях древних греков»¹⁸.

На свою антологию, включая и приложение к ней — его собственные «оригинальные стихотворения», в которых с восторгом описывались петербургские острова с их дворцами и дачами и «сады Павловска» с их тенистыми аллеями, живописными холмами, озерами,

¹⁴ Там же. Р. 118.

¹⁵ Там же. Р. 122.

¹⁶ Там же. Р. 130.

¹⁷ Там же. Р. 164–165.

¹⁸ Там же. Р. 174–175.

ручьем, всевозможными павильонами и иными затеями, — Дюпре де Сен-Мор, по-видимому, возлагал большие надежды, и в значительной мере эти надежды оправдались: труд его удостоился высочайшего одобрения и вышел с посвящением Александру I, чье «славное царствование» характеризовалось как время «расцвета литературы и искусства». Недоставало лишь одобрения критики — русской и французской, но радости этой Дюпре де Сен-Мор так и не дождался.

Собственно в русской печати на появление антологии отозвался лишь А. А. Бестужев во «Взгляде на русскую словесность в течение 1823 года». С его точки зрения, «опыт» Дюпре де Сен-Мора был «неудачен как перевод и как сочинение». «В копии, — с сожалением отмечал он, — нет и следов национальности образца. Русские цветы потеряли там не только запах, но даже и самый цвет свой»¹⁹.

Не вызвала антология сочувствия и у Н. И. Бахтина, видного чиновника, любителя театра и литературного критика, находившегося в это время в Париже, вследствие чего статья его (подписанная криптонимом L. N.) увидела свет во французском журнале «*Mercure du XIX^e siècle*». Бахтина не удовлетворяли ни состав антологии, ни ее объяснительная часть, ни переводческая манера Дюпре де Сен-Мора, перелавшего французскими стихами французскую же прозу²⁰.

Из французских же откликов в точном смысле этого слова можно назвать рецензию Пьера Баур-Лормиана в «*Journal de Paris*» от 2 января 1824 года, столь критическую, что Я. Н. Толстой счел своим долгом ответить ему специальной брошюрой (опять-таки на французском языке), которая была издана в том же году в Париже,²¹ и два выступления в печати Эдма-Жоашена Эро, литератора, прожившего десять лет в России и неплохо выучившего русский язык. Речь идет о его заметке и обширной статье, опубликованных на страницах «*Revue encyclopédique*», журнала, внимательно следившего за успехами русской литературы и систематически отражавшего — так или иначе — этот процесс.

В заметке Эро лишь извещал читателей о выходе в свет «Русской антологии», обещая в самое ближайшее время посвятить ей подробный разбор, но даже здесь он не мог удержаться от адресованных составителю упреков в незнании русского языка, лишившем его возможности прибегнуть без чьей-либо помощи к оригинальным источникам²².

¹⁹ Бестужев А. А. Сочинения: В 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 400.

²⁰ См.: Берков П. Н. Изучение русской литературы во Франции: Библиографические материалы // Литературное наследство. Т. 33–34. М., 1939. С. 731–733.

²¹ Там же.

²² *Revue encyclopédique*, 1823. Т. 19. Juillet. P. 185.

Статья, появившаяся с большим опозданием, состояла из двух частей. В первой части говорилось о русской литературе в целом и в первую очередь о степени ее оригинальности, которую Эро подвергал сомнению, впрочем оправдывая ее «ущербность» историческими причинами. Вторая часть была посвящена непосредственно антологии и отличалась крайней жесткостью суждений, что объяснялось еще и личными обстоятельствами: нечто подобное он собирался сделать и сам, полагая, что для этого у него имелось значительно больше оснований. Впрочем, он считал, что охватить творчество столь разных поэтов и дать представление, пусть и приблизительное, о произведениях столь различных жанров вообще не под силу одному человеку, в особенности поэту такого скромного таланта, как Дюпре де Сен-Мор. «Поэта должен переводить поэт», утверждал Эро, здесь же все, за отдельными исключениями, окрашено в «однообразно-блеклые» тона. В заключение Эро советовал Дюпре де Сен-Мору овладеть русским языком и продолжить работу над антологией, которая после ее усовершенствования может стать трудом вполне доброкачественным и заинтересовать как французов, так и русских²³.

Несмотря на все эти обидные сентенции и иронические ремарки, свидетельствовавшие о несомненной недооценке «Русской антологии», рецензия эта вряд ли могла сильно огорчить Дюпре де Сен-Мора, тем более, что она увидела свет в то время, когда он уже трудился над сочинением, в котором его «русский опыт» должен был отразиться несравненно разнообразнее и полнее. Потребовалось ему для этого не менее трех лет, и результат был весьма ощутимый: в 1829 году у королевского типографа Пийе-старшего появился его трехтомник под общим заглавием «Отшельник в России, или Очерки русских нравов и обычаев в начале XIX века» («L'Hermite en Russie, ou Observations sur les mœurs et les usages russes au commencement du XIX^e siècle»). Трехтомник этот составил серию «Русские нравы» («Mœurs russes»), которой предшествовали серии очерков нравов других европейских народов; у истоков же ее лежали знаменитые очерки французских (первоначально — парижских) нравов, принадлежавшие перу Этьена де Жуи: «Отшельник с Шоссе д'Антен» («L'Hermite de la Chaussée d'Antin», 1812–1814), а также «Отшельник в Гвиане» («L'Hermite à Guyane», 1816), «Отшельник в провинции» («L'Hermite en province», 1818–1824) и т. д.

В предуведомлении (avant-propos) к «Отшельнику в России» Дюпре де Сен-Мор предупреждал читателей, что это не столько рассказ о его поездке в Россию, сколько «правдивый отчет о его пятилетнем пребывании в столице этой империи», основанный на личных

²³ Там же. 1826. Т. 32. Novembre. P. 377–380; Décembre P. 637–648.

впечатлениях, а не на сведениях, заимствованных из книг²⁴. Описание — с чужих слов — дворцов и памятников он предпочитал описание «нравов и обычаев народа, которые претерпевают постоянные изменения, особенно если этот народ все энергичнее цивилизуется»²⁵. Только так, полагал он, можно открыть людям нечто для них новое и сказать им «то, чего им ранее еще почти никто не говорил»²⁶.

В отличие от своих предшественников, отзывавшихся о России с неприязнью и даже презрением или, напротив, в преувеличенно восторженных тонах, Дюпре де Сен-Мор стремился к беспристрастной и справедливой характеристике этой страны и ее народа²⁷. Свою задачу он видел в свободном и незаинтересованном выражении мыслей и чувств, родившихся у него в процессе знакомства с различными слоями русского общества, с национальными традициями и установлениями, а также со светскими и религиозными праздниками, которым он придавал особое значение, поскольку в дни «великих радостей» и «великих печалей» отчетливее всего, по его мнению, проявлялся народный дух²⁸.

Такая исходная позиция предполагала выявление в русской действительности равно хорошего и плохого, и Дюпре де Сен-Мор отнюдь не был склонен этому принципу изменять. Однако хорошее, замечал он, «будет преобладать в этом сочинении», ибо нет ни малейших сомнений в том, что русский народ, в отличие от многих других, «необычайно добр, сообразителен, отважен, религиозен и великодушен»²⁹. В этом он и стремился убедить соотечественников и всех, читающих по-французски, публикуя свои очерки и — в качестве приложений ко второму и третьему томам — повести на русскую тему, где более или менее удачно иллюстрировались отдельные его мысли и наблюдения. Последовательно, переходя от сюжета к сюжету, Дюпре де Сен-Мор отмечал по разным поводам и в различной связи эти черты непохожести во всем, что он видел и слышал в России, будь то важные проявления национального характера или мелкие подробности быта и даже отдельные слова и выражения, хотя воспроизводил он их, как правило, очень неточно.

Высшее общество, в котором Дюпре де Сен-Мор по преимуществу вращался и в котором чувствовал себя в достаточной мере свободно прежде всего потому, что общение там происходило на его родном языке, давало ему в этом отношении немного. Конечно, пе-

²⁴ Dupré de Saint-Maure E. L'Hermite en Russie, ou Observations sur les mœurs et les usages russes au commencement du XIX^e siècle. Paris, 1829. T. I. P. VII.

²⁵ Там же. P. VII–VIII.

²⁶ Там же. P. VIII.

²⁷ Там же. P. VIII–IX.

²⁸ Там же. P. XVIII.

²⁹ Там же.

тербургская знать сильно отличалась от французской аристократии, и он это неоднократно отмечал, но подлинную самобытность находил лишь в «простом народе», затронутом европейской цивилизацией в малой степени или не затронутом ею вовсе. К этому «простому народу» он относил купцов, священников и всевозможный «городской люд», но в первую очередь, естественно, крестьян, хотя в непосредственное соприкосновение с ними вступал сравнительно редко, преодолевая немалые трудности, прежде всего языковые.

Вскоре после приезда Дюпре де Сен-Мор в сопровождении одного из своих новых знакомых начал посещать самые густонаселенные кварталы Петербурга, стремясь понять, как выглядят различные их обитатели, как ведут себя в разных ситуациях, как говорят. Он с интересом всматривался в их лица, наполовину скрытые усами и бородами и затененные высокими шапками, разглядывал их одежду, выставленные на продажу товары, конское снаряжение, форму телег и экипажей и даже кнутов; вслушивался в крики торговцев и жалобы покупателей, испытывая удовольствие от самой «мелодии национального диалекта»,³⁰ и остро ощущал своеобразие этого зрелища и звукового потока в сравнении с тем, что видел и слышал по вечерам, попадая в привычную среду, где говорили по-французски «правильно и почти без акцента», а «женщины были одеты элегантно и со вкусом». «Мне казалось, — замечал он, — что я нахожусь за тысячу лье от места, где прогуливался по вечерам»³¹.

Внешний облик простых русских людей еще не раз обращал на себя внимание Дюпре де Сен-Мора. У мужчин, помимо бород, — волосы, остриженные в кружок, зимой — тулупы из выворотной овчины, летом — полосатые рубахи до колен; у женщин — сапожки, шубы или длинные и широкие кофты, доходящие до середины юбок и скрывающие формы, — все это производило на него несколько странное впечатление, но самую традиционность их облика он приветствовал и сожалел, что мужчины все чаще пренебрегают «благородными одеяниями предков», а «женщины по непонятным причинам отказываются от национальных нарядов и предпочитают весьма неумело носить скверные имитации наших мод»³².

Тему эту Дюпре де Сен-Мор затронул, описывая ежегодный петергофский праздник: в пестрой толпе гуляющих он заметил купца, «благоговеино сохраняющего свою старорежимную бороду» и одетого в «длиннополый кафтан, между тем как его молодая жена, не столь приверженная традициям, кичливо демонстрирует моды улицы Вивьен»³³. С наибольшей же обстоятельностью осветил он

³⁰ Там же. Р. 19–20.

³¹ Там же. Р. 20–21.

³² Там же. Р. 32–33.

³³ Там же. Т. II. Р. 45.

ее в очерке, где речь шла об одежде вообще, включая, разумеется, русскую. Унылой монотонности современного костюма и пагубному господству европейской моды он противопоставлял «национальную одежду», упраздненную Петром I, который «внезапно» отдал русских людей во власть «парижских и английских портных»³⁴. «Национальный тип», полагал он, непременно предполагает и традиционную одежду, исчезновение которой неизбежно влечет за собой и утрату характерных для народа качеств. Более того, по его мнению, привязанность к национальной одежде поддерживает и самое существование народа: если бы она не угасала столь стремительно, в Испании было бы несравненно больше настоящих испанцев, генуэзцы и венецианцы не походили бы в такой мере на австрийцев, а обитательница швейцарского кантона Вале, которая выглядит словно юная парижская белوشвейка, дольше сохранила бы добродетели, свойственные горцам³⁵.

Однако несравненно сильнее, чем вид этих людей, Дюпре де Сен-Мора привлекала незыблемость, как ему казалось, их нравственных устоев: мир, царящий в русских семьях, взаимопонимание супругов, любовь и уважение родителей к детям и добровольное подчинение детей родителям и почитание их, продиктованное не чувством долга, но «потребностью сердца», «вещью совсем простой, которую они отнюдь не осмыслиют как некую добродетель». Соответственно относятся русские люди и к своим государям, которых не случайно величают «наш отец» и «наша мать»³⁶.

Высоко оценивал Дюпре де Сен-Мор здравый смысл, свойственный русскому крестьянину, «*ce génie du bon sens*», который «столь ярко проявляется в сельских сходках, где решаются дела общины, в распределении работ, в его недовольствах и даже в попытках сопротивления»³⁷. «Русского крестьянина, — утверждал он, — ведет по жизни природный ум и та органическая способность различать справедливость и несправедливость, которая ныне все больше уходит из употребления у старых цивилизованных народов»³⁸.

Вместе с тем, полагал Дюпре де Сен-Мор, русскому крестьянину присущи смелость и предприимчивость, склонность к риску, а нередко и безрассудство. Он презирает опасность, не противостоит ей и иногда становится жертвой такого к ней отношения; «он слишком уверен в собственной правоте и проницательности своего взгляда, который вообще-то его никогда не подводит»³⁹.

³⁴ Там же. Т. III. Р. 150.

³⁵ Там же. Р. 152.

³⁶ Там же. Т. I. Р. 144–145.

³⁷ Там же. Р. 64.

³⁸ Там же. Р. 65.

³⁹ Там же.

В качестве иллюстрации Дюпре де Сен-Мор пересказывал ряд свидетельств, принадлежавших разным его петербургским знакомым — «милому старичку-французу», гвардейскому офицеру Петру Оленину (сыну А. Н. Оленина, президента Академии художеств и директора Публичной библиотеки), И. А. Крылову и еще одному не названному, надеясь, что каждая из этих историй будет способствовать лучшему пониманию русского национального характера⁴⁰.

Отмечал Дюпре де Сен-Мор и «врожденную щедрость русского крестьянина», которая проявляется в его гостеприимстве, независимо от того, беден он или богат, а если богат, то еще и в его готовности жертвовать большие деньги с благотворительной целью — «на строительство церкви, больницы или какого-либо иного публичного здания, причем делает он это по собственному почину, никем не понуждаемый, и не напоказ, в знак благодарности Провидению, которое благословляет его труды; это потребность души глубоко верующего и твердого в своих убеждениях человека, который размышляет о мире ином, куда своих миллионов никто с собой не забирает, но где могут отозваться добрые дела»⁴¹.

Благотворительности русских людей Дюпре де Сен-Мор посвятил отдельный очерк, которому предпослал эпиграф из поэмы Луи Расина «Религия» («La Religion»): «Un mortel bienfaisant approche de Dieu-même» («Творящий добро смертный приближается к Богу»). Несмотря на серьезные изменения нравов вследствие упрочения контактов с европейскими народами, эта черта национального характера осталась, по его мнению, неизменной: «Цивилизация оказалась бессильной, ей не удастся искоренить эту столь устойчивую добродетель; народ не перестанет быть добрым, как не перестанет быть бородатым. Эгоизм будет еще менее привлекать к себе, нежели британца. Никогда прохожий не оттолкнет протянутой к нему руки; никогда не услышите вы от него слов “Бог поможет” или “Оставьте меня в покое, мне не до вас” или еще более жестоких “Ступайте, милый, у меня для вас ничего нет”. Русским людям такие слова неизвестны; бедный мужик не откажет в подаении более бедному, чем он сам»⁴².

Наблюдая подобные сцены, Дюпре де Сен-Мор испытывал умиление. Необычайно трогало его сострадание простых людей к проходившим мимо в сопровождении солдат заключенным: при виде их, утверждал он, каждый, будь то рабочий, купец, посыльный, извозчик или продавец, спешит дать им хоть что-нибудь. Сходные чувства вызывало у него и отношение к нищим, нередко слепым, которые время от времени забредали в «просторные дворы» городских и деревенских домов, распевая духовные песни: к его удивлению,

⁴⁰ Там же. Р. 65–68.

⁴¹ Там же. Р. 69.

⁴² Там же. Р. 291–292.

ответом им, как правило, служил град завернутых в клочки бумаги копеек, летевших изо всех форточек, и это несмотря на страшный мороз: «Никто не остается в стороне. Певцы ненадолго замолкают, дабы собрать рассеянные по снегу монетки, после чего продолжают с еще большим воодушевлением; признательность ободряет музыканта»⁴³. Еще больше поражал Дюпре де Сен-Мора русский обычай благодарить того, кого одаривают или кому оказывают гостеприимство, в существовании которого он убеждался «равно на улицах и во дворцах сильных мира сего». «Заключенный принимает подавание молча, а его благодетель, сняв шапку, кланяется ему; в этом проявляется уважение к несчастью, это означает: “Благодарю тебя за то, что ты согласился принять мою лепту; из нас двоих я счастливее тебя, ибо даю я”», — констатировал Дюпре де Сен-Мор и затем приводил пример иного рода: «Когда, отобедав у русского вельможи, вы прощаетесь с ним, он благодарит вас естественным и ласковым тоном за удовольствие, которое вам было угодно ему доставить; этот стародавний обычай кажется мне высшим проявлением гостеприимства; в чувствах, как и в различных видах искусства, заключена красота былых времен»⁴⁴.

Ряд примеров «традиционного и искреннего гостеприимства» русских Дюпре де Сен-Мор приводил, опираясь на собственный опыт и свидетельства некоторых его знакомцев. Особенно красноречивым был рассказ некоего офицера, вернувшегося с Камчатки, которому довелось где-то между Тобольском и Иркутском увидеть толпу мужиков, возмущенных тем, что хозяин постоялого двора селит у себя людей за плату. «Как, — будто бы восклицали они, — и тебе не стыдно брать деньги с тех, кто хочет у тебя остановиться? Несчастный, ты позоришь нашу деревню; от сотворения мира не бывало у нас такой гнусности»⁴⁵. Впрочем, оказалось, что хозяин этот был заезжим итальянцем, и это несколько успокаивало Дюпре де Сен-Мора, совершенно убежденного в том, что «местный житель никогда бы такого себе не позволил» и что в отличие от современных европейцев «русские люди все же остались великодушными», причем по отношению и к своим, и к чужим, предпочитая «скорее не быть русскими, чем не быть великодушными», хотя не мог не признать, что «эти прекрасные порывы, эти проблески подлинного величия, за очень редкими исключениями, являются лишь наследием прошлого»⁴⁶.

Неоднократно Дюпре де Сен-Мор говорил также о необычайно заботливом отношении русских людей, по преимуществу низшего

⁴³ Там же. Р. 293.

⁴⁴ Там же. Р. 292–294.

⁴⁵ Там же. Р. 294–295.

⁴⁶ Там же. Р. 303.

сословия, к животным — быкам и лошадям, утверждая, что «русские крестьяне мыслят как г-н де Бюффон, в свою очередь мысливший, как сама природа», тогда как в Париже, «этом средоточии просвещенности, обходительности и хорошего вкуса», то и дело можно услышать о жестоком обращении с лошадьми, «единственной виной которых являются голод, жажда и полная их неспособность выполнять то, к чему их понуждают», и в то время, как «во Франции эта грубая жестокость остается безнаказанной <...> здесь силой закона обладает человеческая натура»⁴⁷. Это отчетливо демонстрируют, например, утверждал он, извозчики, которые обращаются со своими лошадьми, как с товарищами, и хотя разговаривают с ними «быть может, и не так красноречиво, как герои “Илиады” со своими боевыми конями, речи их исполнены трогательной наивности», — писал он, подтверждая эту мысль словами утешения, обращенными «одним бородатым Автомедоном» к своей усталой лошади, которые для него буквально перевел (с русского на французский) его слуга: «Ну, мужайся, мой бедный друг, потерпи немного; наступает весна, скоро мы покинем эти столь длинные улицы; мы переберемся в деревню; и там ты отдохнешь на лугу, среди травы, доходящей тебе до самого брюха; по вечерам тебя будет ждать удобное стойло, а мои дочери принесут тебе ячменя; в течение двух недель мне ничего от тебя не понадобится, хорошо? Ну, так помоги же мне, дружок, заработать еще несколько копеек»⁴⁸. Восхищался Дюпре де Сен-Мор и «почтительной нежностью», с которой русские люди относятся к голубям, а также старинным обычаем весной выпускать птиц на волю, при том что птиц этих покупают «только для того, чтобы их освободить»⁴⁹.

Составить себе представление о жизни русских крестьян Дюпре де Сен-Мору было довольно трудно: в деревню он попадал редко и лишь по приглашению кого-либо из его великосветских друзей. Особенно сильное впечатление произвело на него пребывание в поместье «одного знатного вельможи», находившемся в ста верстах от Петербурга. «На следующий день после моего приезда было воскресенье. Мы отстояли службу в домово́й церкви хозяина, а затем он предложил мне совершить совместную прогулку по деревне, расположенной рядом. Мы пошли вдоль берега реки, по липовой аллее. В деревне мы побывали в нескольких избах, где царили довольство и чистота; крестьяне принимали своего барина почтительно и в то же время сердечно. На их лицах, открытых и бесхитростных, не было никаких признаков страха; у них был вид людей счастливых и спокойных. Женщины были одеты по-праздничному, а некоторые,

⁴⁷ Там же. Р. 77.

⁴⁸ Там же. Р. 78.

⁴⁹ Там же. Р. 71.

как мне показалось, богато», — так начал он свое повествование⁵⁰, и эта тональность доминировала во всех его дальнейших суждениях и оценках, что было неудивительно, ибо увиденное ему пояснял владелец имения.

Общинное самоуправление и вообще весь деревенский уклад приводили Дюпре де Сен-Мора в восторг: это напоминало ему «первобытную патриархальность», своего рода «земной рай». «Возвращаясь, — продолжал он, — мы заметили летящие качели, танцующих девушек; в то время как старейшины решали серьезные дела, их дети развлекались, отдыхая от недельных трудов»⁵¹. Правда, он все же признавал что, несмотря на эту «деревенскую идиллию», у крестьян могут иногда появляться основания для недовольства, и тогда они посылают в столицу старейшин, которым поручают изложить свои просьбы и жалобы высокому начальству, а иногда и самому государю, в надежде добиться устранения того или иного нарушения закона, отмены приказа управителя, злоупотребившего властью, и т. п. «Мне хотелось бы, чтобы вы стали свидетелем одной из таких сцен, — восклицал «знатный вельможа», — чтобы вы услышали, как говорят эти люди; трудно передать энергию их речи; отклонить их требования почти невозможно, до такой степени они продиктованы врожденным чувством справедливости и идут от сердца»⁵².

Однако, полагал Дюпре де Сен-Мор, это случается нечасто, ввиду того, что огромное большинство русских крестьян довольно своей судьбой: земледелец реже, чем это бывает в других странах, боится впасть в нищету, да в сущности, она ему и не угрожает, ибо помещик берет на себя ответственность за существование тех, кто возделывает его поля. Крестьян не пугают ни засуха, ни обилие дождей, ни неурожай, ни болезни, требующие дорогих лекарств и искусных врачей. Вообще труд их не очень тягостен: почва в этих краях легко поддается обработке, во многих губерниях можно обойтись без навоза, поскольку земля там в течение полугода покрыта снегом, который ее удобряет. У каждого крестьянина имеется лошадь и две — зимняя и летняя — телеги. С сочувствием отмечая, что природа отказала во многом русским крестьянам, у которых нет, например, своего вина, Дюпре де Сен-Мор восхищался их умением изготавливать недорогие пенящиеся напитки вроде кваса, медовухи и других. Особенно несложным казался ему «механизм сельской жизни» в холодное время: «Поскольку земля на долгий зимний период становится недоступной для земледельца, первый снег служит ему сигналом к прекращению работ; тогда он принимается за ремонт конского снаряжения, телег, орудий труда, дома,

⁵⁰ Там же. Т. II. Р. 157–158.

⁵¹ Там же. Р. 162–163.

⁵² Там же. Р. 161.

и все это делается в помещении, не требуя особых усилий; затем он погружается в сон, улегшись на печи (своей склонностью поспать русский народ превосходит все другие). Если он хоть как-то обеспечен, то у него имеется запас чая, сахара и кофе, ибо в крупной русской деревне трех этих замечательных продуктов потребляют больше, чем в наших провинциальных городках. Хозяйка печет хлеб и одновременно пироги. Едят ветчину, кислую капусту, свиное сало, солонину, домашнюю птицу, которой очень много и которая не стоит почти ничего: можно купить шесть штук, жирных и отличного качества, хотя и замороженных, за семь с полтиной; в Петербурге все это дополняют солеными огурцами <...>. Заготавливают немалое количество овощей, которые умеют сохранять. Словом, у большинства крестьян — редкостное гастрономическое изобилие. Пословица *Что в печи, то и на стол мечи* выражает их щедрое гостеприимство»⁵³.

Конечно, Дюпре де Сен-Мора смущало, что русские крестьяне «прикреплены к земле», в иных же случаях он без обиняков называл их «рабами». Понимая, что современная Европа воспринимает это как вопиющий анахронизм, он тем не менее был убежден в том, что час перемен для России еще не наступил и что она еще не созрела для существенных преобразований социального устройства. Продвигаться по тернистому пути реформ следует с крайней осторожностью, предупреждал он и в данной связи с нескрываемой грустью вспоминал 1789-й год у него на родине, когда «наши законодатели словно играючи приняли знаменитую Декларацию прав человека»: «Принцип *ex abrupto* весьма уместен на войне и в ораторском искусстве, но пагубен в законодательстве. Права эти были ужасающе искажены; французскому крестьянину внушили, что первую статью манифеста следует понимать как “жечь замки, убивать знатных, священников, стрелять в аристократических (т. е. короткохвостых) лошадей”. Во многих провинциях сельские жители буквально следовали этим советам. Огромным несчастьем для народов оборачиваются подобные политические наставления, навязанные среди хаоса и оскверненные всевозможными эксцессами; вот почему наша революция оказалась вполне неполноценной». И заключал свои раздумья утверждением, что «самые лучшие вещи, когда они на вас неожиданно обрушиваются, становятся губительными»⁵⁴.

Дюпре де Сен-Мор был совершенно убежден в том, что освобождение крестьян от крепостной зависимости, обретенное ими без долгой предварительной подготовки, вызовет сопротивление не только помещиков, но и самих крестьян, неоднократно отказывавшихся от предложений их господ дать им волю. «Известно, — писал

⁵³ Там же. Р. 175.

⁵⁴ Там же. Р. 202.

он, — что целые деревни единодушно выступали против такого благодеяния; они с ужасом представляли себе существование без опеки и поддержки; все они говорили: “Что с нами будет в черные дни, когда случится голод? Кто снабдит нас и наших детей пищей? Куда пойдем за лесом для обогрева и строительства наших жилищ? Наконец, зачем нам эта свобода, если она сулит нам нужду? Иностранец при виде множества крестьян, просящих о милости, был бы поражен, что милость эта состояла в том, чтобы оставаться крепостными”⁵⁵.

В подтверждение Дюпре де Сен-Мор приводил один, но, как он считал, неотразимый пример, почерпнутый в недавней европейской истории. Речь шла о попытке Наполеона в 1812 году привлечь русских крестьян на свою сторону с помощью обещаний освободить их, превратив во владельцев и хозяев своих земельных наделов: «Русские остались глухи к этому призыву; любовь к отчизне полностью овладела их простыми душами; чувство это вытеснило все прочие; они пренебрегли дарами чужеземца, и не было ни одного предателя и перебежчика (что происходит слишком часто) среди тех, кто сражался за родину и обожаемого монарха»⁵⁶. Ничего не изменилось и после изгнания врага с русской земли, когда армия оказалась за ее пределами: ни искры народного возмущения, ни малейшего поползновения ослабить власть господ: «крестьяне вернулись к дорогим им привычкам, и первый день, когда они прошли плугом поле битвы, стал днем их триумфа; ведь и у пахарей бывают победы»⁵⁷.

«Гармония между классом правящим и классом, ему подвластным» и как следствие этого неизменность государственных институтов и царский в стране мир, — все это обусловлено главными качествами русского народа — «добротой и человечностью», — полагал Дюпре де Сен-Мор и далее уточнял, что «со стороны первых это — хорошее обращение, великодушие, отеческие чувства, а со стороны вторых — покорность, повиновение и трогательная привычка к своему положению»⁵⁸. К этому он мог бы добавить глубокую религиозность народа, в которой нисколько не сомневался и которую живописал в очерке, посвященном празднику Крещения Господня (Богоявления), центральным эпизодом которого являлся обряд «великого освящения воды в Иордани».

Дюпре де Сен-Мор, наблюдал эту церемонию 6 января 1825 года на Дворцовой набережной, против Эрмитажа, поражаясь ее необычайной пышности и обилию людей, собравшихся там, несмотря на двадцатипятиградусный мороз. Впрочем, настаивал он, «таков обычай, восходящий еще к X веку, а старинные обычаи надо ува-

⁵⁵ Там же. Р. 164.

⁵⁶ Там же. Р. 165.

⁵⁷ Там же. Р. 165–166.

⁵⁸ Там же. Р. 166–167

жать»⁵⁹. Подробно описывал он специально сооруженный для этого круглый решетчатый павильон с куполом, увенчанным крестом, широкую террасу, которой он был обнесен, прорубь в центре; молебен в дворцовой церкви и церковный ход, в котором участвовали митрополит, император и весь двор; погружение в реку серебряного креста и т. д. Он сожалел, правда, что гвардия в полном составе на сей раз не присутствовала на церемонии, хотя это сделало бы ее еще более величественной: «Пятьдесят тысяч человек в боевом порядке на огромном ледяном поле, склоняющих головы и оружие в момент благословения, полки, проходящие перед павильоном, дабы принять окропленные святой водой знамена, сто тысяч зрителей, великолепные здания по обоим берегам, пальба из пушек, множество хоругвей и штандартов, от двух до трех сотен священников в роскошных одеяниях, дивное пение придворных певчих, толпа высших офицеров и сановников, расположившихся на террасе, разве все это не являет собой ни с чем не сравнимую картину, увидеть которую нигде больше невозможно?»⁶⁰ Однако и то, чему он стал свидетелем, его изумило: например, император, легко одетый, с непокрытой головой, без перчаток; матери, спешащие погрузить своих детей в ледяную воду или наполнить ею кувшины... «Поистине благочестие народа, — утверждал этот уроженец Лангедока, — ничто охладить не может»⁶¹.

Еще более впечатляло и трогало Дюпре де Сен-Мора зрелище людей, собравшихся в Петропавловской крепости по случаю праздника освящения вод в день Преполовления (в 1825 году он приходился на 22 апреля), для участия в крестном ходе, а также для раздачи узникам хлебов с запеченными в них золотыми и серебряными монетами, белья, старой одежды и т. п. После чего, констатировал он, «отдав дань религии и человеколюбию», они на эспланаде крепости по праву предаются вполне земным радостям — еде и питью, причем последнее не вызывало у него ни малейшего осуждения: «Пьянство русских не похоже на пьянство других народов; я не знаю ничего менее агрессивного; мне не пришлось встретить ни одного буйного среди этих подгулявших людей»⁶².

Но наиболее масштабными и яркими проявлениями народно-го духа были, с точки зрения Дюпре де Сен-Мора, «невинные безумства русского карнавала» — многолюдные масленичные гулянья на невском льду или же, если лед уже начинал подтаивать, на Марсовом поле. Особенно поражали его ледяные горы: в отличие от прочих развлечений вроде качелей, кукольного театра, ученых обезьян,

⁵⁹ Там же. Т. I. P. 248.

⁶⁰ Там же. P. 250.

⁶¹ Там же. P. 252.

⁶² Там же. P. 259.

дрессированных лошадей и канатных плясунов, он ничего подобного никогда не видел, не без оснований считая катанья с этих гор «здесьней выдумкой» и притом весьма удачной. С огромным удовольствием разглядывал он лица катающихся, столь естественные и столь разные — чаще веселые, но иногда и серьезные; при этом некоторые из них демонстрировали свою ловкость и бесшабашность, другие же спускались с достоинством римского триумфатора; заметил он среди них жизнерадостного старика и пожилую женщину, сжимавшую в своих объятиях юную дочь⁶³. Между прочим, в свой очерк он включил и своего рода «исторический экскурс» — почерпнутое в «Достопамятностях Санкт-Петербурга и его окрестностей» Павла Свиньина (они были изданы в 1816–1828 гг. в двух параллельных версиях, русской и французской) подробное описание масленичных забав 1740 года, для которых по прихоти императрицы Анны Иоанновны была устроена шутовская свадьба с «географическим маскарадом» и был сооружен знаменитый ледяной дворец⁶⁴.

Переход от масленичного изобилия к великому посту Дюпре де Сен-Мор воспринимал как свидетельство глубокого уважения русских людей к традициям: «Сила привычки и вместе с тем вера позволяют им без излишних размышлений переходить из мира удовольствий в мир лишений и покаяния. После нескольких часов сна все это население встает, чтобы начать иную жизнь: эти добровольно приносимые жертвы служат для него источником радости и самоуважения, которых удовольствия дать бы не могли. Народ, отказывающийся от благородных, вошедших в привычку и продиктованных моралью традиций, жестоко заблуждается, думая, что такая эмансипация делает его более счастливым. Церковь проявляет исключительную мудрость и гибкость, воздвигая священную преграду перед потоком человеческих безумств»⁶⁵.

Важной темой размышлений Дюпре де Сен-Морва было также отношение русских людей к их правителям. Речь, собственно, шла по преимуществу о двух из них — Екатерине II и Александре I.

«Императрица Екатерина все еще царствует здесь; вельможа, купец, помещик, крестьянин, старый солдат, рабочий говорят об этой монархине с энтузиазмом и все ее благословляют, — так начинался посвященный ей очерк с эпиграфом из послания Вольтера «Российской императрице Екатерине II» (1771). — В этом хоре похвал слышится нечто большее, нежели восхищение и преклонение, да и самый хор звучит словно один голос, до такой степени их воодушевление порождено одним и тем же чувством. Подобное единодушие отнюдь не является отзвуком хвалебных гимнов, которые столь час-

⁶³ Там же. Р. 269–271.

⁶⁴ Там же. Р. 275–278.

⁶⁵ Там же. Р. 279–280.

то радовали слух императрицы; разве воспоминание о самых блистательных военных победах может еще трогать сердца и исторгать из уст слова любви, которых удостоиваются лишь реальные заслуги человека? Не думаю, чтобы какой-нибудь женщине больше, нежели Екатерине, было дано сообщить власти столько благородства; доброта, щедрость, желание распространять вокруг себя радость и ощущение безопасности, словом, все то, что привлекает людей и покоряет, Екатерина этим владела в совершенстве. Народ ошибается относительно многих вещей; но он читает с потрясающей пронизательностью в сердцах государей. Русские были убеждены в том, что императрица их любила; вот чем объясняется это своеобразное поклонение, которое сопровождает ее и после смерти»⁶⁶.

Подтверждений этому Дюпре де Сен-Мор приводил множество: приветственные возгласы и крики восторга при появлении императрицы, вызывавшие у нее слезы умиления; всевозможные знаки благоволения, на которые она никогда не скупилась; любовь к правде, как бы горька она ни была; простота в общении с людьми всех званий — от иностранного дипломата до лакея и т. д. При этом он всячески отводил от нее обвинения в узурпации власти и участии в убийстве низложенного супруга, возмущаясь попытками «циничных писак» представить ее царствование «постыдным образом», уверяя, что сам ни разу не слышал ничего подобного и выражал надежду, что эти измышления опровергнет в своих мемуарах граф де Сегюр, французский посол при петербургском дворе тех лет, принадлежавший к ее ближайшему окружению⁶⁷. В какой-то мере Сегюр действительно эту его надежду оправдал, о чем Дюпре де Сен-Мор сообщил в развернутом примечании-дополнении к основному тексту⁶⁸. Впрочем, иного он в любом случае утверждать не мог, поскольку считал (надо полагать более или менее искренне) монархию формой правления для российского народа если и не идеальной, то, по крайней мере, вполне органичной.

Александра I Дюпре де Сен-Мор не раз видел лично во время придворных балов, военных парадов и разного рода официальных церемоний, из которых, наряду с упоминавшимся выше праздником Крещения, самое сильное впечатление на него произвел новогодний прием в Зимнем дворце, показавшийся ему «подлинным чудом». Дело было не только в его пышности и огромном количестве приглашенных, но и в предельной пестроте их состава: «Монарх и его семья начинают год среди народа; раздается двадцать пять тысяч билетов. В семь часов вечера двери Зимнего дворца открываются для всех без исключения: богатство и бедность, фельдмаршал и инвалид, прин-

⁶⁶ Там же. Р. 98–99.

⁶⁷ Там же. Р. 100.

⁶⁸ Там же. Р. 101–102.

цесса и белешвейка, церемониймейстер и танцмейстер, фрейлина и компаньонка, камергер и лакей, академик и неграмотный, грузинская царица и французская модистка, все чины, все сословия соединяются у подножия трона; все могут надеяться на взгляд, на улыбку, на любезное слово монарха. Если в толпе мужик случайно окажется ближе к императору, стоящий позади него вельможа позволит ему воспользоваться такой удачей, даже не помышляя ее у него отнять»⁶⁹.

Далее следовало подробное описание приема — танцев, ужина на шестьсот персон, маскарада. Особое внимание Дюпре де Сен-Мора привлек вид некоторых дам, одетых в русском стиле: «Нет ничего более благородного и более изящного, чем эти платья; они подчеркивают красоту женщин и даже делают привлекательнее тех из них, кто ее лишен; удивительно, что, несмотря на это, ими пренебрегают ради европейских мод»⁷⁰. Отметим он и поведение императора, который в течение всего «волшебного пиршества» прохаживался по залу, беседуя с дамами и иностранными послами, причем согласно этикету все они продолжали при этом сидеть⁷¹.

К этим ярким, хотя и несколько поверхностным, зарисовкам Дюпре де Сен-Мор счел необходимым добавить ряд эпизодов из повседневной жизни Александра, сообщенных ему одним из флигель-адъютантов императора. Благодаря этим свидетельствам Александр предстал перед французским читателем как человек необычайно скромный, умеренный в своих потребностях, склонный к уединению; на редкость пунктуальный и неутомимый в делах. Дюпре де Сен-Мор приводил также примеры его исключительного мужества, неоднократно проявлявшегося в его почти непрерывных передвижениях по стране⁷².

Под стать этому достойному своего народа монарху была, по мнению Дюпре де Сен-Мора, его супруга, «благородная и безутешная жертва страданий, причиненных ей смертью ее детей»: «Народ не удовлетворится тем, что любит ее, он стремится всеми доступными ему способами доказать свою любовь»⁷³.

Не следует, впрочем, думать, что картина, нарисованная Дюпре де Сен-Мором в его очерках, была совершенно лишена черных красок и что за пять лет пребывания в России он не увидел и не услышал там ничего, что его огорчило бы или возмутило: в его сочинении немало критических суждений, суровых оценок и мрачных прогнозов. Однако простого народа с его верностью традициям предков, глубокой религиозностью и обожанием монархов это почти не касалось. Он и только

⁶⁹ Там же. Р. 86.

⁷⁰ Там же. Р. 91.

⁷¹ Там же. 93.

⁷² Там же. Т. II. Р. 85–95.

⁷³ Там же. Р. 99.

он, полагал Дюпре де Сен-Мор, является носителем «национального духа», который прежде всего и делает Россию столь непохожей на другие страны, включая его любимую Францию, причем непохожесть эта не имеет ничего общего с отсталостью, которую ей нередко приписывают. «Я живу среди варваров Севера, — восклицал он, словно отвечая на подобные обвинения, — но тщетно ищу там это варварство».

Год спустя после появления «Отшельника в России» Дюпре де Сен-Мор выпустил его продолжение — новую серию очерков, озаглавленную на сей раз «Péttersbourg, Moscou et les provinces, ou Observations sur les mœurs et les usages russes au commencement du XIX^e siècle» («Петербург, Москва и провинции, или Очерки русских нравов и обычаев в начале XIX века»). В предисловии он объяснял это тремя причинами: усилением интереса к России после завершения столь удачной для нее войны с Турцией; успехом «Отшельника в России», быстро разошедшегося при немалом для того времени тираже около трех тысяч экземпляров, и, наконец, стремлением полнее осветить российскую действительность, к чему призывали некоторые читатели, недовольные тем, что у него ничего не было сказано «о правительствующем сенате, духовенстве, крупных монастырях, похоронах по православному обряду, гильдиях, отсутствии долговых ям, таможняк, публичных банях, театрах и литературе, народных суевериях, военном штабе, морском музее, медицинской школе, придворных певчих, гувернерах и цензуре», а также о Москве, Новгороде, Черкессии, Грузии, Сибири и т. п.⁷⁴ Впрочем, был ли этот перечень «пропущенных» сюжетов на самом деле подсказан читателями, не известно. Не исключено, что его составил сам Дюпре де Сен-Мор, задумывая свои новые очерки, в которых собирался использовать накопленный и остававшийся в его бумагах и памяти обширный материал.

По своей форме очерки эти мало чем отличались от предшествующих: те же бытовые зарисовки, перемежавшиеся размышлениями, разговорами, анекдотами, выдуманными историями и т. п. Неоднократно возникла в них и тема русской самобытности, которую Дюпре де Сен-Мор то затрагивал мимоходом, то развивал весьма обстоятельно, нередко повторяя при этом сказанное ранее. В качестве примеров можно назвать очерки о русских банях, ликвидация которых, по его мнению, была бы равносильна уничтожению народа; о придворной певческой капелле, восхищавшей его проникновенным исполнением без инструментального сопровождения русской духовной музыки; о традиционных весенних гуляньях в Летнем саду с неизменными смотринами купеческих невест: возникновение

⁷⁴ Dupré de Saint-Maure E. Péttersbourg, Moscou et les provinces, ou Observations sur les mœurs et les usages russes au commencement du XIX^e siècle. Paris, 1830. T. I. P. VI—VII.

этого обычая он связывал с необычайной простотой нравов и глубоким уединением, в котором жили жены и дочери русских купцов.

Среди наиболее ярких очерков такого рода — «Les troupes russes», где шла речь об армейском укладе. Железную дисциплину, существующую с давних пор в русской армии, Дюпре де Сен-Мор считал прямым следствием «покорности и преданности слуг и в равной мере — справедливости и великодушия их господ»: «В день сражения, — утверждал он, — солдаты обнаруживают преданность своим начальникам, уподобляясь детям, относимся так к своим отцам; град пуль не остановит их; если дело идет о жизни раненого офицера, они без оглядки кидаются в огонь и скорее позволят изрубить себя в куски, нежели отказаться от его спасения. Та же преданность, та же отвага — на флоте, ибо начальников и подчиненных там связывают те же узы»⁷⁵. Примечательно, что эти «прекрасные движения души», эти «благородные поступки», Дюпре де Сен-Мор не был склонен приписывать исключительно привычке к «рабской покорности и «слепому повиновению»: «Самоотверженность, — замечал он, — не входит в число статей Военного устава»⁷⁶.

Из русских городов, которые ему довелось увидеть, включая, конечно, и «один из прекраснейших городов мира» Петербург, национальный колорит был сильнее всего, полагал Дюпре де Сен-Мор, присущ Москве. «Тот, кто довольствуется посещением Петербурга, как поступают многие, приезжающие сюда морским путем и после нескольких месяцев пребывания там возвращающиеся тем же путем, — утверждал он, — не знают ни русских, ни России. Можно сказать, что Петербург — лишь блистательный вестибюль огромной империи и, говоря военным языком, передовой отряд армии, местом расположения которой является Москва. На Москве лежит печать самобытности, чего нельзя сказать о ее младшей сестре, и это очень заметно: именно здесь — средоточие воспоминаний о славном прошлом; здесь лучше сохраняются установления былых времен; народ в большей мере верен старинным традициям, нравам и обычаям. Наконец, он чувствует себя здесь по-настоящему дома, это подлинная родина, это русская почва; он ступает по ней с большим удовольствием, прочнее к ней привязан, покидает ее с большим сожалением, возвращается с большей радостью»⁷⁷.

«Печатью самобытности» была в представлении Дюпре де Сен-Мора отмечена также Сибирь. За исключением сурового климата, все в этом далеком крае его восхищало, он казался ему неким «новым царством Астреи», где людям неизвестно, что такое дверной запор, поскольку нет воров; где богатые, кто как может, поддерживают

⁷⁵ Там же. Т. II. Р. 168.

⁷⁶ Там же. Р. 169.

⁷⁷ Там же. Т. III. Р. 255–256.

бедных, и не было случая, чтобы нуждающийся в помощи встретил отказ: «Людей черствых и негостеприимных, — восклицал он, — надо отправлять в Сибирь на год или два, и они станут добрыми и милосердными». В сходных тонах рисовал он и судьбу ссыльных, которых после их освобождения поздравляют со слезами на глазах и опекают местные жители, кормят их, снабжают провизией на дорогу и т. п.⁷⁸

Правда, побывать в Сибири Дюпре де Сен-Мору не пришлось, но он знал о ней по рассказам «супруги одного иностранного врача», несправедливо сосланного в Тобольск, а также из печатных источников; во всяком случае, историю ее присоединения к России при Иване Грозном и, в частности, судьбу атамана донских казаков Ермака он изложил весьма подробно, а в примечании напомнил читателям о помещенном в его «Русской антологии» стихотворения «Ермак» И. И. Дмитриева, «одного из самых выдающихся русских поэтов». «Этот образец русской поэзии, — пояснял он, — один из самых примечательных и интересных во всей этой антологии благодаря своему скорбно-мрачному и дикому колориту»⁷⁹.

Таким образом, в своих новых очерках Дюпре де Сен-Мор оставался верен себе: он полагал, что говорить о варварстве народа, наделенного столь высокими достоинствами, невозможно, причем на сей раз развивал эту мысль еще более энергично, всячески обличая людей, которые пишут о России, не потрудившись туда поехать: «В этот анархический век <...> каждый безнаказанно делает все, что ему заблагорассудится, рассказывают о путешествиях, не путешествуя, производят вино без винограда, сукно без шерсти, провансальское масло без оливок, пиво без хмеля и серебряные изделия без серебра», — возмущался он⁸⁰ и доказывал свою правоту, черпая аргументы из личного опыта, полученного в процессе постоянного соприкосновения с этим необыкновенным народом: «Если, покинув столицу и углубившись в центральные области страны, лежащие по ту сторону обширных хвойных лесов, — продолжал он, — я встречаю на своем пути людей кротких, великодушных, приглашающих иностранца на праздничную семейную трапезу и отказывающихся от денег, которыми тот хочет их отблагодарить; если в этих деревенных теплых домах я обнаруживаю все признаки достатка; если в каждой деревне я вижу красивую церковь, богатую и хорошо ухоженную; если везде почитают родителей и относятся с уважением к старости; если деревней управляют старейшины, никогда не злоупотребляющие своей властью; если по вечерам отец семейства творит молитву и читает детям Новый завет; если мне говорят, что

⁷⁸ Там же. Т. I. P. 224–226.

⁷⁹ Там же. P. 232.

⁸⁰ Там же. P. 102

в этих отдаленных областях отцеубийство не известно, а убийство — большая редкость; если путешественник может проехать восемьсот лье, не опасаясь грабителей, неужели я позволю себе утверждать, что русский народ все еще пребывает в состоянии варварства?»⁸¹

Ответ напрашивался сам собой: нет, это отнюдь не варварство; это цивилизация, но цивилизация особая, уходящая корнями в далекое прошлое народа и потому совершенно самобытная, уровня которой другим странам (включая Францию) еще предстоит достигнуть.

Ряд аргументов в пользу подобной точки зрения читатель мог найти и в беллетристических сочинениях Дюпре де Сен-Мора, которые он иногда помещал среди очерков, но чаще — в конце томов. Действовали в них, в основном, русские люди, принадлежавшие к разным сословиям, плохие и хорошие, но моральную победу всегда одерживали последние, наделенные традиционными добродетелями — честностью, мужеством, долготерпением и, конечно, искренней и глубокой религиозностью, которая поддерживала их в горестях и страданиях и примиряла с действительностью, сколь бы тяжелой она ни была. При всей их незамысловатости, эти трогательные, назидательные и живо написанные новеллы и повести открывали французским и европейским любителям чтения нечто для них новое, позволяя им представить себе, пусть и очень поверхностно, жизнь малознакомого им народа и во многом загадочной страны.

Самые значительные из этих сочинений — повести «Два преступления» («Les deux crimes»), «Варинька, или Красный кабак» («Varinka, ou le Kabak rouge») ⁸², «Отставной офицер» («L'officier en retraite»), «Найденыш» («L'enfant retrouvé») и «Юница и Аламир» («Younitza et Alamir»). Среди вставных новелл наиболее примечательные — «Оттепель» («Le Dégel»), «Скорость» («La vitesse»), «Новгород Великий. Два крестьянина» («Novgorod la Grande. Les deux paysans»), «Аббат Делиль в России» («L'abbé Delille en Russie»), «Несколько страниц о человеческом сердце» («Quelques pages du cœur humain») и «Удачный вечер» («Une bonne soirée»).

Приводим в качестве образца новеллу «Оттепель», извлеченную из первого тома «Отшельника в России» (С. 239–246):

⁸¹ Там же. Р. 103–104.

⁸² Об этой повести см.: *Пак В. Д.* К истории сюжета о девушке, задохнувшемся юноше и слуге-вымогателе // *Художественный перевод и сравнительное изучение культур.* Памяти Ю. Д. Левина (в печати).

ОТТЕПЕЛЬ

Что губит одного, другой тем вознесен.

П. Корнель. «Цинна», акт II, сц. I.

Quanto parentes sanguinis vinclo tenes,
Natura! [Сколь сильны кровные узы, природа!]

Сенека. «Ипполит», акт IV, сц. I.

Оттепель наступает почти всегда постепенно, начинает понемногу подтаивать и размягчаться толстый лед, которым покрыта Нева; полиция, как только это становится опасным, запрягает переходить пешком через реку; но, несмотря на всю ее бдительность, ежегодно происходит множество несчастных случаев: так же обстоит дело и во Франции, где зима подчас тоже уничтожает людей неосторожных. Еще не забыли о той бедной собаке, которая ни за что не хотела покинуть то место, где у нее на глазах ее хозяин был поглощен водами Сены (в 1799 году); она отказывалась от еды и питья. На протяжении трех дней все парижане стремились отдать дань своего восхищения героической скорби этого доброго животного; на четвертый день его там не оказалось: неожиданно хлынувший поток поглотил его вслед за его несчастным хозяином.

Нет здесь ничего ужаснее, нежели внезапная и неожиданная оттепель; лед покрывает реки так долго, что на нем возводят разные постройки, которым люди привыкли доверять. Между тем, перемена может произойти в течение нескольких часов: ее вызывает западный ветер, упорный и неистовый; если, к несчастью, он задувает ночью, люди, проснувшись, ведут себя как и накануне, не опасаясь коварного льда, на вид еще прочного, и это влечет за собой множество печальных событий.

Когда устанавливается санный путь, залив, свободный от судоходства, становится надежной дорогой без колеи, длиною в тридцать верст, связывающей Петербург с Кронштадтом, по которой непрерывно движутся в обе стороны повозки и телеги с товарами. На полпути между ними находится сколоченный из досок постоялый двор, где могут найти приют около сорока лошадей и большое количество путешественников; в марте этого года западный ветер дул со страшной силой много часов подряд; по-видимому, хозяин двора и путешественники уже намеревались его покинуть, когда сооружение вдруг накренилось и исчезло подо льдом. Люди, лошади, здание, — все погибло; катастрофа разразилась с быстротой молнии. Эта внезапность оттепели явилась причиной других грустных сцен.

Крестьянка, которая проживала в одной деревне на берегу Финского залива, стирала белье в проруби, проделанной в пяти или шести футах от берега; вдруг льдина, на которой она стояла, начала отдаляться от земли; бескрайняя поверхность залива распалась на тысячу частиц; все эти осколки приходят в движение, теснят друг друга, сталкиваются в вырвавшейся на свободу воде. Несчастную поселянку уносит течением на ее полуразрушенной льдине. И вот дым из печи, вокруг которой играют ее дети, скрывается из ее глаз; она больше не различает колокольную деревенской церкви. Одна между небом и морем, которое ярится и содрогается под натиском запрудивших его масс, она вверяет себя Богу и обещает принести ему в жертву свою жизнь. Но льдина, отделяющая ее от смерти, сдается в борьбе с другой, огромного размера; неминуемая гибель придает ей смелости. От природы наделенная ловкостью и большим хладнокровием, она перебирается со своей исчезающей льдины на льдину-победителя, которая ее принимает, хотя там ее поджидают новые опасности. Однако теперь, когда она убедилась в том, что на этом плавучем острове ей удастся продлить свое существование, как она хотела бы в последний раз увидеть землю, от которой течение ее все больше отдаляет. На коленях, чтобы смерть застала ее в молитвенной позе, она душой устремляется к Богу, думая о своей маленькой семье.

«Но, — говорит она себе, — дети уже заметили мое долгое отсутствие и, обеспокоенные этим, бросились на берег залива! Они кричат: «Где же она? Что стало с нашей бедной матушкой?» Увы! Несчастная как будто слышит их стенания, она рыдает, и забота о детях заставляет ее пожалеть о белье, которое могло бы им пригодиться и которое исчезает на ее глазах подо льдом. С приближением ночи ее страх удваивается; во тьме смерть будет для нее еще страшней; она предпочла бы умереть при последних лучах света. Да, скоро уже прекратятся звуки благовеста, которых она никогда не услышит. Вот-вот должен возвратиться ее муж: что скажет он при виде своих деток, обнимающих его колени и кричащих: «Папинька! Она не вернулась, ступай же за нашей матушкой».

Погруженная в эти горестные мысли она все больше ощущает холод и голод, которые усиливают ее отчаяние; она чувствует постепенное приближение смерти и закрывает глаза. Но слышится выстрел, шум приближается; удивленная крестьянка поднимается, и что же, вблизи — берег. Она кричит, простирает руки, машет своей белой меховой шапкой. О Провидение! Ее услышали, заметили, спешат ей на помощь; шляпка с шестью гребцами прокладывает себе дорогу и достигает льдины, кото-

рая ее чудесным образом спасла. Ей бросают доску, к которой привязана толстая веревка; она хватается за нее и по этой зыбкой тропке добирается до своих освободителей. Изрядно рискуя, они пристают к эстонскому берегу, ибо льдина прошла путь от одного берега к другому, проделав расстояние в сорок верст. Один дворянин, чей дом стоял совсем рядом с морем, заметил с террасы знаки, которые подавала бедная женщина; ее приводят к нему, и на пороге она без сознания падает к его ногам; ее приводят в чувство; она открывает глаза и просит привести детей. Она считала, что находится в Финляндии: поскольку ей не доводилось еще покидать свою деревню, она и не подозревала, что мир так велик.

Залив освобождался от льда еще неделю; но когда весенние ветры полностью его очистили, эстонский дворянин, рассудив, что одно доброе дело всегда влечет за собой другое, приказал лодочникам доставить крестьянку к ее семье. Она уехала, осыпанная подарками, исполненная благодарности и опьяневшая от радости: переезд прошел столь же быстро, сколь и удачно.

С финского берега можно было разглядеть корабль, направившийся в сторону Петербурга. У русских людей появление, после окончания оттепели, первого судна всегда вызывает большой восторг. Они приветствуют его как предвестника весенних дней; все крестьяне из прибрежных деревень радуются этому первому парусу. Обитатели деревни, где жила добрая Марфа, тоже собрались на берег. Но ее муж и дети, поглощенные лишь одной мыслью, не разделяли этой общей радости; казалось, что они зывают к морским глубинам, умоляя вернуть им ту, которую они так нежно любили и которая была у них так жестоко отнята. Но гребцы удваивают рвение, шлюпка приближается. Раздается пронзительный крик, это крик стоящего в толпе старшего из детей; он узнал свою мать, он хочет броситься к ней, за ним следуют его брат и младшая сестра; но Марфа уже в объятиях мужа, но вот она уже прижимает к сердцу своих дорогих детей, орошая их слезами. Народ окружает их, все разом задают вопросы нежной матери, которая лишилась от счастья дара речи; вместо какого-либо ответа она указывает на небо и на орудия, с помощью которых его благая воля могла проявиться. Вокруг них собирается большая толпа, им задают вопросы, они рассказывают, их благословляют, их ласкают; каждый добивается чести проводить их под их гостеприимный кров. Но за этой трогательной сценой следует религиозное действо: в едином порыве, молча, никем не понуждаемые, все направляются к церкви, все желают возблагодарить Господа за чудо, которое ему было угодно совершить. В церкви восторги их сме-

няются тишиной, и поп произносит благодарственную молитву. Выйдя из храма, люди с почестями провожают добрую Марфу до порога ее хижины, где она была так счастлива и куда она уже не надеялась вернуться

Когда лодочники подошли к своей шляпке, чтобы плыть назад в Эстонию, они обнаружили там множество пирогов, сушеных фруктов и т. п. Каждому крестьянину хотелось сделать им какой-нибудь подарок; припасов у них оказалось столько, что хватило бы на долгое путешествие.